

люто отрезаны от внешнего мира, и в нынешнюю войну с ее заблокированными дорогами отчасти одиноко».

И она кубистским, по ее собственному сравнению, методом пишет новую реальность в изоляции от мировой цивилизации, жизнь, которую составляют теперь сплетни, предсказания святой Одилии, сельскохозяйственный цикл. Входит сама — и вводит нас — в медитативное состояние, наблюдая за дождем, инем, курами и первыми всходами: «Когда французам настает пора вскапывать землю и сажать овощи, они всегда взбадриваются, и сегодня как раз подходящий день, так что даже если бы в Кюлозе решили, что немцы из России не отступают, все равно был бы повод повеселить, это для них естественно, поскольку пора огородничать, это их обязанность». Война с этой точки зрения — что-то вроде стихийного бедствия: пущечная пальба меняет поведение облаков, поэтому весна никак не наступает — «бомбардировки многое меняют», не спориши.

Экспериментальный стиль Стайн похож на поток сознания, но это сознание не индивидуальное. Если в книге, озаглавленной «Автобиография Элис Б. Токлас», она от имени подруги рассказывает о себе самой, то в «Войнах, которые я видела» говорит от первого лица голосом французской глубинки. Историософское рассуждение писательницы без стыков переходит в древнегреческий хор деревенской рассудительности с ее бесконечными повторами, и так же нечувствительно и естественно меняются взгляды Стайн — если понапачку она называет Петена спасителем Франции, то позднее настроена уже явно критически.

ВОЗДЕЛЫВАТЬ СВОИ САД

Спустя два десятилетия немецкий философ и социолог Теодор Адорно сформулировал свою знаменитую проблему существования поэзии после Освенцима: «После Освенцима любая культура с любой ее уничтожительной критикой — всего лишь мусор». Он пишет, что интеллектуалы и художники часто ощущают себя не равноправными участниками бытия, а только зрителями — позиция, которую уже Милош признал невозможной. После Освенцима европейцы внезапно утратили право на невовлечеченность и ис-

ко, но это не мешало их дружбе. В то время отстраненный и неангажированный взгляд был в порядке вещей, но затем, как пишет Милош, в сознании европейцев произошла перестройка: «Интеллектуал стал носить мундир и знаки отличия: еще недавно он плыл по широким водам различных симпатий и вкушал разные блюда на выбор. Сегодня он является (ибо обязан быть) антифашистом».

Сегодня литература избегает двусмысленности, заботится прописать этическую оценку и держаться поближе к документу, не желая оказаться в роли парочки, кружавшейся на карусели под стенами горящего гетто. Цена беспечности сильно возросла, и «войны, которые видела Гертруда Стайн», — ее лебединая песня.

В одном из писем, исследуя пути, которыми интеллектуализм загнал себя в ловушку, Милош пишет о близком Стайн автоматическом письме: «Чтобы достичь глубоких слоев иррационального, надо освободиться от его полицейского контроля и позволить заговорить подпольным голосам». Сейчас, сколько бы мы ни утешались теорией малых дел, известная сентенция Розанова: «Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай» — неизбежно откликается человеком из подполья Достоевского: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить». Стайн возделывает свой сад и в переносном смысле, и в буквальном, ностальгируя по счастливым дням, когда овощи росли не на земле, а в консервных банках. В своей дневниковой прозе она пишет «пoэзию до Освенцима», и эту ностальгию невозможно не разделить. №

ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА ЕВРОПЕЙЦЫ ИСПЫТЫВАЮТ «ЧУВСТВО ВИНЫ ВЫЖИВШЕГО», ЗНАКОМОЕ СЕЙЧАС МНОГИМ РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИВАЮТ ПРИГОВОР НАДЕЖДЕ САВЧЕНКО КАК СОБСТВЕННЫЙ ПОЗОР

пытывают «чувство вины выжившего», знакомое сейчас многим российским гражданам, которые переживают приговор Надежде Савченко как собственный позор, а «Болотные дела» — как собственную вину. XX век, окончательно наступивший, по мнению Стайн, только с началом Второй мировой, провел черту между «Эмма Бовари — это я» и «Я Шарли».

Милош родился в 1911 году, Стайн — в 1874: ему в описываемое время чуть за тридцать, Стайн — под семьдесят. Пикассо называл ее «настоящей фашисткой» и упрекал в слабости к Фран-